

МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ БЕК

СИГИЗМУНД
КРЖИЖАНОВСКИЙ

КНИЖНАЯ
ДУКА



МКСVII



МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

**СИГИЗМУНД
КРЖИЖАНОВСКИЙ**

КНИЖНАЯ ДУША

Стихи разных лет



Водолей Publishers
Москва – 2007

ББК 84Р7-5
К81

Редакционная коллегия серии:

Р. Бёрд (США),
Н. А. Богомолов (Россия),
Е. В. Витковский (Россия, *председатель*),
С. Гардзонио (Италия),
Г. Г. Глинка (США),
В. В. Емельянов (Россия),
О. А. Лекманов (Россия),
В. П. Нечаев (Россия),
В. А. Резвый (Россия),
В. А. Синкевич (США),
Р. Д. Тименчик (Израиль),
Л. М. Турчинский (Россия),
Л. С. Флейшман (США)

Составление, подготовка текста
и послесловие *В. Калмыковой*
Научный редактор *В. Перельмутер*

ISBN 5-902312-95-7

© В. Калмыкова, составление,
послесловие, 2007
© Водолей Publishers, 2007

ЛАВРСКИЕ КУРАНТЫ

Восемь звонов нисходящих,
Точно дальний плеск причала,
С высей в сумрак улиц спящих
Башня, бросив, замолчала.

Нисходящих восемь звонов:
Так Глубинное Начало,
Цепью никнущих эонов,
Мир роняя, прозвучало.

Кто-то тихо водит стрелки
Циферблата белым диском
И в секунд деленьях мелких
Ищет Вечность: Вечность близко.

Монастырь. Шум ветра чёток.
(Слышен ли там в кельях низких?)
Там, где пальцы в звеньях чётко
Ищут вечность – Вечность близко.
Близко... К сердцу вдруг нагнулось
То, что выше слов всех мелких:
– Это Вечность прикоснулась
К острию секундной стрелки!

«ПАРСИФАЛЬ»

Лилейные руки в созвучьях рояля
Учили о тайнах Святого Грааля.

И пели в аккордах закатные блески
И дальних приборев прощальные всплески...

Душа возвращалась путями мистерий
К закрытой для душ народившихся двери.

И плакала тихо, склонясь у порога,
И в жизнь возвращалась тернистой дорогой.

* * *

В межкрестной тишине
Туманней мыслей свивы...
Душа в излётном сне
Забыла мир тоскливый.

– Ты слышал, как поют
Затишных миггов тени?
В молчание ведут
Хрустальные ступени.

Над мигами иду
К бездвижью дальних светов.
...Душа моя – внизу...
Забыта и отпета.

СУМЕРКИ

Густеют сумерки. Ползут в усталый ум,
Туманом влажным и холодным,
Сплетенье серых чувств и звенья бледных дум...
Хочу их разогнать усилием свободным, –
Но воля тупо спит. Всё сумерки густей...

Туман поёт в душе тоскливо и уныло.
Вдруг вспыхнут отблески неведомых огней!
Всё это, помню я, когда-то... раз уж было..
И в душу вновь пришло –
И сумерки густей.

* * *

Кисленькие, злые, хворые идейки;
Маленькая, тускленькая жизнь. –
Мозг трусливо роет норы и лазейки,
Чтоб вильнуть от смерти, врыться в грязь и...
«жить»!

Вот, – сгрудились: лезут ошалелой массой
Бедные, больные грустные скоты...
На усталых лицах бодрости гримаса
И на рабьих спинах – тяжкие кресты.

ВЕСЕННИЙ СНЕГ

Мы идём по блестящей панели;
В мутных лужицах солнце берёт
Вдохновенные трели.
Надрываясь, ползёт
Анемичная травка в просветы забора,
Обнаглев, к солнцу тянет изъябшие поры.
Я иду и пьянею от шумов и блесков,
От весеннего воздуха, радостных всплесков:
 И в канавках и в небе запела Весна,
 Синеокая, Божья Весна!

На оттаявший тихо ступаю песок.
Вдруг... откуда-то... талый позвал голосок...
Что такое? утихло. Лишь ветры шумят
И ручьи вдоль канавок тревожно гремят.
 И на лицах зелёных, не годных к улыбкам,
 Сплин уснул: он весною укачан как в зыбке.
И калоши целуются с грязью взасос,
И в мозгах «половой» назревает «вопрос»...

Я иду по весенней панели:
В сердце солнце берёт
Вдохновенные трели...
И взволнованно ветры зовут и шумят
И ручьи вдоль канавок приветно гремят.
Что же это?.. –
 Опять среди гудящих ручьёв
Слышу шорохи тающих слов, –

И хрустит льдистый вновь голосок:
«Я снежок, –
Я растоптанный вами снежок...
И умру от лучистой Весны:
Ах, душа моя – мёрзлые зимние сны
Отлетают.
Вы забыли о белом, пушистом снежке,
Что от солнца, на жадном песке
Тихо тает...»

СКУКА

Мы с тобою вдвоём, да, мы вечно вдвоём,
Я и ты, моя серая скука.
Я к тебе уж привык и мы мирно живём.
Непонятно нам слово – разлука.

Вот я слышу: грозящее время идёт!
Нет в душе ни движенья, ни звука.
...к нам с тобою никто, нет, никто не придёт,
Моя тихая верная скука.

Воля вспыхнет на миг, к жизни снова зовёт,
Где борьба ждёт, экстазы и мука!
...нет, никто к нам... никто... никогда не придёт,
Моя мутная, бледная скука.

* * *

На стене: «Турчанка у фонтана».
(Подарок друга.)
Затылок втиснул я в спинку дивана;
Как за лезвием плуга, –
За мыслью бреду.

Тоскует турчанка у глупого фонтана.
Тоскую и я на хриплых пружинах дивана.
.....
Время мысли уводит во тьму.
Мысли ум не ведут ни к чему.

* * *

В душе, как в нетопленной комнате.
А ведь жизнь – неуютная штука:
Сегодня тоска, завтра скука...
И всё.

Сижу над книгой, нравственно зябну:
Разве строчками можно сказать? –
– Можно лгать, да... талантливо лгать –
Это всё.

Так бушует, так хлещет наш «стиль»!
Так бездвижен душевный наш штиль.

Так бескрыла тоска...

* * *

Море цвета лакмуса.
В небо рвутся скалы.
На скамье, у кактуса,
Кто-то сел устало, –
Кто-то, огорошенный
Синих волн блистаньем,
Гость почти непрошенный
К жизни мирозданьем.

И в душе на ролике
Слово «я» вертится.
Угрызенья – колики:
В них душа ютится.
.....
Ты противен кактусу,
Гадок волн прибою!
В море цвета лакмуса
Брякнись головою.

МОЛОДОЖЁНЫ

Молодожёны (с глазами как сливы в блаженства
компоте),
С ними мамаша в пятнистом капоте:
Влезли в купе.

В угол зажали меня чемоданами,
Саки на полках, узлы под диванами –
Едем.

Что-то шептал он – она хохотала,
И, отвернувшись, мамаша жевала
Грушу.

Ручку ей сжал он – и тихо стыдилась...
Если б мамаша куском подавилась!
О, если б!..
Роюсь в Rucksack'е: словарчик – заметки,
Книги: мечты в коленкоровой клетке...
Скучно.

Песню вагоны бессловную пели.
Медленно сумерки вокруг засерели.
Скучно.

Молча глядел я в померкшие дали:
Сумерки звёзды «для них» зажигали...
.....
Ну конечно – «для них»!

ДАЧНАЯ ОПУШКА

Меж глупо-ярких крашенных дачек,
Рояльного скрежета, лая собачек,

По змеистой вязкой тропинке,
Макая в лужу ботинки,
Иду я к лесу.

О, ты, жуть дачных опушек!
В гамаках спят трупы жёлтых старушек.
В траве жестянка, блеск битой бутылки,
Застыли над книгами чьи-то затылки;
Хрипят мордастые – сытые мопсы;
По бумаге зелёным трут Шишкины –
Жёлтым трут Ропсы.

Мимо. – Пискнула птичка. Стучат нудно дятлы.
Ветер чешет деревьям зелёные патлы.
Меж стволов сплошь синеют-алеют капоты.
И горько-горько мне:
Зажмурив глаза, сижу над лужицей.
Ах, над лужицей так сладко тужится –
На мокром пне.

МЫ

Канарейка жёлтая в проволочной клетке
О любви канареечной жалобно свистит.
Перо в руке, точно клюв странной птицы,
Про любовь человечью – скрипит и скрипит.
Вечереет. Нам скучно. Мы в клетке, – нам тесно!
Наши песни – не наши: их поём подневольно –
Ты на жёрдочке тонкой, я – в вольтеровском
кресле.
Человеку и птице люди сделали больно.

«LA QUESTA TOMBA¹»

Прогнили доски. В раскрытый рот
Сырая глина сквозь щель ползёт.

Там, надо мною, ручки звенят.
Но в мёртвом сердце холодный яд.

Отпет... Забыт я... И под крестом
Душа тоскует тревожным сном.

В земных глубинах ключи звенят,
Но в сердце мёртвом – бессилья яд.

* * *

Милые, добрые, мудрые книги
Учат «по-умному» жить:
Учат ловить вдохновенные миги, –
Верить, прощать и любить.

Я их читаю с глубоким волнением
И, до конца изучив,
К людям иду... с величайшим презрением,
Жалость одну сохранив.

¹ Эта могила (*итал.*).

И Я

О вы, воспетые, тысячу раз уж воспетые,
«Ивы, над камнем могильным склонившие ветви
свои»...
Вот бы и мне рассказать, по-старинному грезя
и сетуя,
Как мои думы склонились, «как ивы, над тишью
земли».

Дайте и мне погрустить о ветвях, наклонённых
над дёрном,
В ветре молитву творящих шёпотом тонких листов.
Критика: «Старый мотив, плагиат, стих шаблонен,
не нов», –
Где же мне взять красоты невоспетой, несказанных
слов?

Да разве слёзы мои лишь цитата?
Разве страданье моё – плагиат?
Нет. Пусть над дёрном, скорбя об утрате,
Ивы плакучие – ветви бесстрашно склонят.

И буду петь (не писать «петь») рутинно, лениво
Старую-старую песню об ивах немых,
Что безутешно тоскуют у камня забытой могилы,
В чёрную тень оправляя блистанье лучей золотых.

ПОЭТУ

Меж душой и миром тишина:
Там, над тишиной, повис узорный мостик.
По его излому в мир идут слова,
Чтобы в плоть облечь там букв сухие кости.

Но пред тем, как в шумный мир сойти,
Долго, наклонясь, стоят над тишиною:
Так влечёт прильнуть к молчащему покою.
Но перо, скрипя, толкает их в значки.

– Если ты поэт, то слышишь в час бессонный
Вздохи тайных слов, гонимых из души.
Там, на мостике, над тишиной бездонной,
Все свои слова... останови.

* * *

Предмирная, немая сила
Сожгла мои глаза;
В душе смятенной наступила
Познания гроза!

Познание – как пламя молний, –
От них пожар души:
Объятый истиной безмолвной,
Испепелись в тиши.

СТРИНДБЕРГ

...Он ненавидел жизнь и проклял мысль людскую,
Любовь земли отверг и веру растоптал.
Тоской об Истине сжёг душу он больную,
И не найдя её – безмолвно умирал.

И лишь в последние, предсмертные мгновенья
Из гаснущей души блеснул сокрытый свет, –
Сказал он: «В гроб со мной пусть Книгу Откровенья
Положат.

В ней одной, быть может, есть ответ...»

ВАЛУН

Холодный камень, рождённый в высях,
Упал в долину, среди цветов:
К нему приникли земные травы;
Покрылись грани узором льдов.

Но в сердце камня, в гранитном сердце,
Живёт немая душа вершин:
Он сын обвалов и снежных смерчей,
Пришедший к людям в грозе лавин.

Душа моя – валун печальный:
Ей чужды краски земных цветов. –
В ней вечный холод идей кристальных,
В ней отблеск знания, как отсвет льдов.

ЧЕРЕП КАНТА

...долихоцефалической формы, несколько
выше средней ёмкости...

Антропология

Из футляра костяного
Смертью вынут сложный мир,
И Ничто глядится снова
Сквозь просвет глазничных дыр.

Череп пуст: из лобных складок
Мысль ушла. Осталась быль.
Череп длинен, жёлт и гладок;
В щелях швов осела пыль.

Есть легенда: в этой тесной
Узкой келье в два окна
Десять лет жила безвестно
Явь, скрываясь в мире сна.

Что её из «Царства Целей»
Завлекло к земле, на дно?
В номер скромного отеля
(Тот ли, этот – всё равно)? –

Трансцендентные просторы
На «пространство» променяв,
В серых схемах а ргіогі
Здесь ждала свобода – явь.

Всё, что было, – стало Былью.
Книги полны странных слов, –
Череп пуст, – и серой пылью
Время входит в щели швов.

SUICIDIUM

Пути идут запретные –
И высью и долинами.
Тропинки неприметные
Изгибами змеиными
Бегут и возвращаются
И снова все встречаются
За леса тёмной чащею,
У омута молчащего.

Плакун-Трава над ним растёт.
Плакун-Трава проклятая...

Над зыбью помертвелою,
Сломавши крылья белые,
Тоскою очарованный,
Склонился Ангел скованный.

И к омуту за чащею,
Тропинками молчащими
Приходят осуждённые:
Под жалом звёзд рождённые,
Что смерть струят в ночи.

Обвившись вокруг души,
Лучи тех звёзд опальные
Ведут путями дальними
К тиши.

.....
И мудрецы, и книжники,
И плуты, и подвижники,
И сильные, и нытики,
Скопцы и сифилитики
Идут.
Молитвенные шёпоты,
Угрозы, слёзы, ропоты
Звучат.
Но зыби помертвелые,
Лобзая крылья белые,

Молчат.

Над водами печальными,
Над струнами кристальными,
Цветёт в тиши Плакун-Трава,
Плакун-Трава проклятая.

МУМИИ

На музейных постаментах,
Рядом с утварью старинной,

В пёстрых тканях, жёлтых лентах,
Лица мумий – цепью длинной.

С масок крашенных струится
Дум отживших начертанье, –
О, взгляни, коль не боишься,
В глаз пустых очарованье.

Под узорной киноварью
Тушь нарисовала ресницы,
И зрачок, блестя эмалью,
Врезан вглубь немой глазницы.

Сквозь эмалевые глубины
Вижу вечности просторы:
Так мельканья жизни скоры,
И, как искры, гаснут люди.

Говорят мне очи мумий:
«Ты – лишь миг, глядящий в вечность.
И пути твоих раздумий
Все истоптаны предвечно».

* * *

На тихом кладбище, на мраморе доски,
Желтеет слов истёртых позолота.
Здесь тусклая любовь каракули тоски
Нескладно вывела у смертного излёта.

Там в высоте прозрачных тучек сеть,
Здесь травка бледная глядит из глины робко;
Ползёт на край креста и пробует лететь
На алых крылышках ввысь божия коровка.

...О, слёзы старины, уснувшие меж трав
Под мерный плеск ручьёв и звон шмелиных песен, –
Любовь в вас умерла, словами отсверкав,
И по зигзагу букв ползёт неслышно плесень.

АКАДЕМИЯ (IV в. до Р. Х.)

Шаги и мысли отзвучали:
Сад Академоса закрыт.
На лёгких оттисках сандалий
Песчинки ветер шевелит.
Узором мозговых извилин
Аллеи бороздят весь сад.
Смешались в вере: дым кадилен
И загородных свалок смрад.
Издаেকে несут Афины
Тимпанный звон и флейтный свист.
В саду ж – священные оливы
К теням вечерним клонят лист.
И над извитием аллеи
Прозрачной вереницей эх,
Роняя ветрный слов доспех,
Кружат крылатые идеи.

Там глухо заперты ворота:
Но слышен ночью странный звук, –
Как будто бьёт о стены кто-то
Крылами, налетая вдруг.
В полночный час роняют ветви
В шуршанье трав – то вдох, то стон.
– Кто ключ хранит от сада-клетки?
– Тюремщик Вечности – Платон.

СХОЛАСТЫ (XIII в.)

В сером и чёрном, Бонавентура и Аквинат,
Меж блеклых дёрнов, вошли безмолвно
в весенний сад.
Сад был раскинут вокруг капеллы у Сен-Дени.
Серый и чёрный, меж роз и лилий, тихо прошли.
Запела птица на дубе старом. Промолвил тихо
вдруг Аквинат:
«Что ж комментарий Ваш de Sententiarum,
любезный брат?»
Цветущих лилий запах вдыхая, ответил тот:
«Мысли, цветы ли, – всё, прозябая, к Богу растёт».
– И вдруг склонившись, с улыбкой скорбной,
брат Джиованни цветов сорвал.
– «Так и тебя...» – подумал чёрный, но не сказал.
Дорожка уже, тени чернее, и гуще сад.
Серый и чёрный шли вдоль аллеи: Бонавентура
и Аквинат.

MAGNUS CONTEMPLATOR¹ (XIII в.)

В день Благовещенья природа поживает:
И звери спят в норах и травы не растут;
На срывах скал гнёзд птицы не свивают, –
Лишь мысль философа свершает вечный труд.

За слюдяным окном, в уединённой келье,
Над книгой и душой мыслитель наклонён.
Издаюла, с квадратных башен Нейльи
Чуть доплеснулся Angelus'a² звон.

В шести in quarto – Разум Августина;
«Тимей» и Библия; Боэций; «Sic et Non³»;
В труд Аристотеля о четверопричине
Альберт Великий мыслью погружён.

«Quod est finalis Causa?»⁴ – он пишет,
И видит: тени пали от идей;
Из теней мы. И нас в волнах колышут
Удары Логоса немеркнувших лучей.

¹ Великий наблюдатель (*лат.*).

² Angelus – утренняя, дневная и вечерняя католическая молитва, сопровождаемая колокольным звоном.

³ Обозначение схоластического метода, созданного П. Абеляром и его последователями.

⁴ «В чем заключается последняя причина?» (*лат.*). Вслед за Аристотелем многие философы Средневековья рассуждали о «finalis Causa».

– «Sic credo, Domine». – Над шелестом страничным
Вдруг прошуршали взмахи зыбких крыл:
То дальний серафим с зазвездий безграничных,
Летя, шум крыл с шептаньем книжным слил.

ДЕКАРТ

Насколько он (Декарт) мучился своими сомнениями, видно из данного ещё во время военной службы и исполненного в 1623 г. обета совершить путешествие в Италию для поклонения Лоретской Мадонне, если ему удастся избавиться от этих сомнений и открыть критерий достоверности.

Ник. Грот. «Декарт»

В прибой шумящий океана
Ночной Ловец бросает сеть.
Звездам предутренним дотлеть
Пора над мраком океана.

И сеть изъята из глубин:

Добычи нет в ней – плеск один.

Добычи нет, как и всегда.

Дотлев, ушла с небес звезда.

И рыбарь сеть бросает вновь –
Он, помолясь, даёт обет:

«И сеть, и труд, и весь улов
Отдам Мадонне в Сен-Лорет».

Что это? Утра мутный сон.

В сетях движенье чует он;

Овито в нити цепких дум –
«Cogito – ergo – Sum...»
Сочится в небе ало рана,
Кровь солнца в зыбях океана. –
И бьётся, ввившись в нити дум,
Мадонне отданное «Sum».

ГАРТМАН

...и ропщет мыслящий тростник...
Ф. Тютчев

К молчанью Омута, не знавшего движенья,
Раздвинув тихо ропщущий тростник,
Приходит Истина, роня отраженье:
Коснулась Омута, и трепет в нём возник.
Вмиг отраженье порвано зыбями
На бликов пляшущих отдельные клочки,
– А ропщущий тростник, колеблемый волнами,
Всё шепчет, всё скорбит над Омутком Тоски.
Там стебель был один: он, хрупкий, надломившись,
Коснулся бликов, молвив: «Вижу я,
Как образ Истины, сквозь зыби опустившись,
В безвестьи спит у тинистого Дна».

СКАЗКА О ПОЗНАНИИ

Мне кажется порой, в час смутных размышлений,
Когда мысль сплющена бессильною тоской,
Что можно сбросить вмиг кошмар земных видений,
Лишь надо вспомнить что-то... мной забытое давно.

И ясен жизни путь: бежать в уединенье
От голоса людей, внушений лгущих книг
И вспоминать... Всё вспоминать, с растущим
напряженьем,
Забытый свет, мной виденный лишь миг.

И вот настанет час, час тишины великой,
И в душу низойдёт познания острый луч:
Услышу рост тогда я мхов на скалах диких,
Проникну в тьму земли и в сны летящих туч;

Постигну тайны я созвучья сфер небесных,
И мысли ангелов узнаю, не страшась;
Увижу в красоте незримо-бестелесной
Я сонм творящих сил, – в тот предреченный час!

И пусть сожжет тот луч глаза и мозг познавший,
Пусть Мудрость вечная убьёт трусливый ум,
– Приди, разящий миг, и дай в себе исчезнуть,
В тебе хочу найти я смерть бескрылых дум!

* * *

Приходи... Мы с тобой помолчим
О вечерних полях...
О словах, что так свято храним
В разлученных сердцах.

...Так мы будем с тобою внимать
Тишине. –
Завтра, в сумерки, ты возвратишься опять
Погрустить в полусне.

«НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ»

Отпусти мою душу незримым лучом
Отлететь к тишине безглагольной...
Рассеки её, Боже, Ты смертным мечом,
Вознося к высоте Предпрестольной!
.....
Край пути. Сердце ранено отсветом дня.
Время кончилось с жизнью дольней.
Я иду, я иду... Не отвергни меня,
Дай прильнуть к тишине безглагольной...

* * *

Вечерняя печаль нисходит на поля.
Колоколов призывных слышу звоны...

И пурпуром зажглись бездвижных туч края,
И дальних гор немеют склоны.

И в этот час, коль в сердце грусть поёт,
Забывая в мельканьях дня тревожных, –
Воскреснет в сумерках и душу увлечёт
К мечтаньям призрачным о счастье невозможном.

* * *

Колоколов далёких перезвоны.
Час сумеречных грёз, молитв немых
Пред строгим Ликом внемлющей иконы...
Призывы слов, огромных и простых.

Дрожит пугливый огонёк лампы;
И зыблются слова, рождённые из слёз...
Вошла и обняла затишная услада,
Сошедшая во тьму долины плотских грёз.

Колоколов далёких перезвоны, –
Вы, в чуткой тишине поющие Хвалу,
Очистите елеем звуков стоны
Души, приявшей грех, любви, ушедшей к злу!

AN DEN FRÜHLING

(Григ)

На зыбких клавишах звучат шаги Весны:
Вся в струнных шорохах, вся в завитушках трелей –
Идёт, и на пути синеют травы-сны,
И влажный снег с ветвей роняют ели.

У талой лужицы грустит влюблённый гном.
Ручьи звенят, сплетаясь в сложной фуге;
И дятел на сосне, как точный метроном,
Считает такт, тоскуя о подруге.

ВЕСНЕ

Я хотел бы за тощим котом,
Ошалевшим влюблённым скотом,
По трубе иль в чердачную нишу
Взлезть на липкую, скользкую крышу
И всю ночь одиноко орать
(Над людьми, что весной могут спать)
О зелёных, светящих глазах,
О красавиц пушистых хвостах,
О мурлыканьи вечной любви...
Там, на кровле, у тёмной трубы
Стал бы ждать я случайной жены...

Под блистаньем луны.

SAALFELDEN **(Tirol)**

На крыльце два грустных такса
Созерцают лужу.
В небе туч разбухших кляксы
Шлют вниз дождь и стужу.

Дождь бубнит по черепицам,
Бьёт по стёклам зданий...
Frau Wirtin тычет спицы
В скучное вязанье.

Вот соседские мальчишки
С визгом, писком, давкой,
Закатав свои штанишки,
Пляшут над канавкой.

Сам Herr Wirt, пиджак сняв новый,
Стул придвинув к свету,
Изучает, подняв брови,
Старую газету.

САШЕ ЧЁРНОМУ

Пыль покрыла все химеры:
Оттого быть трудно Белым.

Но душа так жаждет веры:
Нет, к чему быть вечно – Серым?

Да, но вера... призрак вздорный.
Оттого ты – Саша Чёрный.

* * *

Поезда меня мчат по неведомым странам,
По неведомым странам среди гор и долин.
От вокзальной толпы, от огней ресторанных
Ухожу снова в ночь, где один я... один.

Как люблю я в тиши предрассветного часа
На мельканье глядеть силуэтов в окне:
Здесь, в пустой темноте, точно мыслю я ими,
Точно силой души зародил их в себе.

И несусь, подчиняясь таинственной воле:
Мост, туннель, блеск далёких огней...
Позабывшие станцийки, спящие в поле.
Города и зигзаги печальных аллей.

ЭРИГЕНА **(IX в.)**

«И в день седьмый Господь от дел своих почил».
Interpretatio: возник покой в вещах.
Седьмой день – тишину низвёл и поселил,
Низвёл и поселил и в криках и в лучах.

С тех пор слова людей звучат и не звучат;
С тех пор у синих звёзд надломлены лучи;
И мудрый говорит любви своей: «молчи»;
«Да будет» отошло и близится «назад».

Всё крепнет Тишина; всё ширится в вещах:
То к розе вдруг припав, прозрачный пурпур пьёт,
То слово на устах дрожащее уьёт.
Всё крепнет Тишина. Всё ширится в вещах.

Всё крепнет Тишина. Я верю – близок миг –
И в безответности умрёт последний крик,
И духи и тела – всё канет в глубину
И будем слушать мы Господню Тишину.

МОНАСТЫРЬ САН-МИНЬЯТО **(Флоренция)**

У ступеней Сан-Миньято –
Тихий шорох кипарисов...
У ступеней Сан-Миньято
Слышен нежный звон цикад.

Дверь раскрыта в сумрак храма:
Вижу красный блеск лампад,
Гимн угрюмого органа
Слился с песнею цикад.

Мрамор портиков широких;
Олеандров пышный ряд.
Тускл покров олив высоких;
Странен кактусов наряд.

Смутный зов молитв печальных
Спорит с голосом весны.
По путям скользя хрустальным,
Реют сладостные сны.

SANTA CHIARA

Меж домов пустынных улиц
Я иду к теням портала,
Проклинаю пыль и скуку
Бесконечного квартала.

По истершимся ступеням
Я спускаюсь к арке храма:
Слышу тихий отзвук пенья
И призывный гул органа.

Миг. И гаснут солнца блики.
Свет лампад колеблет тени,
И со стен святые лики
Внемлют в грусти песнопений.

Там, под сводом наклоненным,
Над горящими свечами,

Вижу облик нерожденный
С тихоструйными очами:

В них горит печаль людская
О заблудших и усталых,
И слеза скользит, сверкая,
По щеке больной и впалой.

Santa Chiara, светоч чистый!
Озарен душой скорбящей
Путь далёкий и тернистый,
Путь безвестности манящей!

ВЕНЕЦИЯ НОЧЬЮ

Изломы улиц над сном каналов.
Шесты, лавчонки и тень порталов.

Пустынных калле молчат провалы.
Сырые в воду ушли подвалы.

Шаги чеканны среди стен уснувших:
Мне слышен голос времён минувших.

Белеет площадь, как зал волшебный,
На пьедестале колосс там медный...

Немое небо, вода и камень, –
И блики света сквозь щели ставень.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Скоро услышу тебя, Чёрный Лебедь, в душе
опустелой, –
Ты пропоёшь мне в тот час о безумья безвестной
стране.
Мысли, как блики огней, заблудившихся в топкой
трясине,
К зовам той песни прильнут и исчезнут в едином
огне!
В ночи бессонные мне уже слышатся шелесты
крыльев:
Близится медленный лёт Чёрной птицы, несущей
печаль...

МОЙ ЛЕБЕДЬ

...песнь та звучала блаженством рая...
Григ. «Лебедь»

И ты, умирая,
Ждал песни из рая, –
Мой лебедь...

Душа её пела.
Но песнь не звенела
Меж далей.

В миг смерти великий
Визгливые крики
Звучали.

Бессилье в них билось...
По высям томились
Печали.

Над глубиью кристальной,
Уродец печальный,
Поник ты... без песен.

КЛАДБИЩЕ ВЕЧЕРОМ (Mayerhofen)

Огонёчки красные
У немых крестов.
Золотятся ясные
Строчки старых слов:

«Умер. Причастившись Тайн,
Ждёт здесь до суда,
Нег Советник Кроненштайн –
Честности звезда!»

Холмики дерновые,
Символ смертных снов.
Цветики лиловые
Жмутся у крестов.

Ангелочки грустные
Над обрезом плит.

В лицах – безыскусные
Отсветы молитв.

В душу тихо просится
Блеклый грусти луч...
Над землёй проносятся
Стаи чёрных туч.

МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ПОД ПУЛЯМИ

То не был мир – лишь мира ответ смутный,
Сплетеньем ганглиев пленённый звёздный
СМЫСЛ,
Лучи, опутанные сетью цепких числ.
То не был мир – лишь мира ответ смутный.

Дома к домам прижали камни тесно.
Шёл человек и мира ответ нёс.
В его мозгу: созвучья сфер небесных
И близкий стук извозчичьих колёс.

Лишь для него чуть зримыми лучами
К мерцанию фонарей с высот сошла звезда.
Но по плакатам чёрными словами
Ползла чешуйкой букв шуршащая Вражда.

До серафически-окрыленных наитий
Добрызнуть грязью силится Земля.

Мысль метафизика – в клубке паучьих нитей, –
И ломится толпа в затишный сумрак «Я».

...Пять ненавидящих ошупали глазами
Холодный контур лба. Зрачки нашли зрачки.
«Тот против нас, кто не идёт за нами»,
Пять ружей вскинуты и взведены курки.

Мир не погиб. Померк лишь отсвет мира...
Всё те же фонари. Залп. Ругань. Стук шагов.
Над мыслью – гимн семиорбитной Лиры.
Над трупом – пять дымящихся стволов.

* * *

Я – создание неведомых чар.
Дух мой – пляска скользящих теней...
Злые искры рождает удар:
Кто-то соткал меня из огней.

Я – потоки испуганных искр,
Убегающих к холоду тьмы.
...и вращается времени диск,
И пространство, как стены тюрьмы.

Отгорю и умру в беге дней...
(Где безвестная Жизни страна?!)
Я – полёт чьих-то робких теней,
Я – видение вещего сна...

СВОБОДА

Великое Слово, шитое на знамёнах,
Сползло тихонько и, узким древком,
Обманув ищеек мести и закона,
Спряталось, израненное, в толстый-чинный том.

Поселилось Слово в звучной умной фразе
В обществе корректных иностранных слов,
Критики, историки, учителя гимназий
Смотрят грустно в буквы сквозь овал очков.

...Но тоскует Слово о великом миге:
Снится алый стяг, шумящий среди ветров.
– Помогите ж, люди, выбраться из книги
Самому несчастному из великих слов.

М. О.

Мраморная девушка села у ступеней
Сумрачной гробницы. Там, где реют тени
Кипарисов грустных.

Стиснуты бессильно каменные руки.
В скованной улыбке – отсветы разлуки
И любовь земная...

Кто ты, отлетевшая в мир безвестно дальний?
Кто ты...

ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА

В высях, где неба осеннего свод, –
Птиц запоздалых таинственный лёт.
Ветры струятся за ними на юг,
Ветры о странах лазурных поют...

Пусть я нескладная, глупая клеть!
С ними хочу в дальний край улететь!
Вижу парящую с криками стаю:
Крылья дощатые я поднимаю,
Ах, поднимаю и я...

Тяжкие крылья бессильно кружат,
Падают гулко и в высь... не летят!

Гордый я лебедь, волшебник могучий
В брёвен гнилых обратил меня кучу,
Околдовала земля!

Нет мне свободы: средь глади полей
Грустью осенней питаю людей.

КУРИЦА

Какая извращенность!
На крыльях... вдруг... лететь!!!
Нет, эта современность –
Софизмов сладких сеть!

Ведь крылья (так понятно) –
Чтоб укрывать детей,

Как одеялом ватным
От холода ночей.

ЭПИТАФИЯ СЕБЕ

Когда умру, а это будет скоро, –
Не надо мне слезоточивой¹ ивы,
Живых цветов, фиалок из фарфора,
Запомнить так легко – ведь это будет скоро, –
Пусть надо мной растёт, иглясь, крапива
И жалит всех, как мыслью жалил я:
Да будет мне, как и была, тяжка земля.

МОГИЛА ГЕЙНЕ

Ветви лип, искрясь от света,
Тени бросили на мрамор.
Чёткий, белый бюст поэта
Меж дорожек и крестов.

Здесь, под плитами могилы,
Под орнаментом стихов, –
Спит посланник Вышней Силы –
В нимбе тихих, смертных снов.

¹ Вариант: сугулой плаксы.

...И в душе твержу молитву
Пред великим алтарём:
Воин здесь, окончив битву,
Пал с бестрепетным челом.

Слышу шелест лип склонённых,
Окруживших белый бюст:
Это шёпот погребенных
Скорбных, вещей, мудрых уст.

«Здесь... Под дёрном пожелтелым,
Под покровом блеклых трав,
В вечном сне окаменелый, –
Сплю, в борьбе земной устав.

Я цветам моей гробницы
Песен шлю звенящих ряд, –
И с цветов они, как птицы,
К небу дальнему летят.

Песням внемлют звёзд узоры
И о них ручьи звенят;
Тихоструйных ветров хоры
Песни людям говорят...

Подойди к вождю видений,
Властелину скорбных грёз, –
Если дух готов к томленьям
Горьких, злых, кровавых слёз, –

Если хочешь ты в бореньи
Расточить свободный дух,
Наклонись к могильной сени
И очисти грешный слух...»

...сердце бьётся беспокойно. –
Холод плит к устам приник...
Мысли бешено, но – стройно
Отражают жуткий миг!

Сердце стало.

Мысль сомкнулась.
Слышу горний лёт луча...
...сталь меча, звеня, коснулась
Наклонённого плеча!

«Рыцарь духа ты отныне», –
Донеслося с высоты:
«Я, Вождь правды, Страж святыни,
Освятит твои мечты.

Принят ты в Великий Орден –
Орден гибнущих за Свет:
Умирай в луче познания, –
Высшей доли в мире нет.

Путь тернист наш, лозунг светел:
Мысль, свобода и любовь.
Разорви неправды сети
И отдай за падших кровь!»

.....
Липы скорбные шумели.
Вечер холодом дышал
И в душе, как зов свирели,
Голос сладостный звучал...

Я ушёл, гонимый ночью
К шуму улиц, площадей:
Оглушал фиакров рокот,
Лязг вагонов, крик людей...

Рассевалась тень видений:
Голос дальний чуть звенел, –
И в кричащей мгле мгновений
Сказке верить я не смел...

* * *

И дремля едем до ночлега,
А время гонит лошадей.
Кружит колёсами телега,
И хлест кнута: скорей-скорей.

Упало солнце. День сгорает.
Вот и ночлег. Подземный сон.
Никто меня здесь не встречает...
Телега стала...

БЕАТРИЧЕ

У всякой девичьей прозрачной красоты
Есть право ожидать: терцин бессмертных Данта.
И странно девушке, что говорит ей «ты»
Какой-нибудь самец в очках с акцизным кантом.
Глаза прекрасные глядят издалека:
Меж красотой и жизнью – **беспредельность**.
И заменить канцонного стиха
Не в силах слов влюблённая поддельность.
Не всякой девичьей, далёкой красоте
Дана душа, далёкая от мира:
Вот отчего в кричащей суете
Молчит и ждёт настроенная лира.
Так, променяв легенду на фантом,
Терцины вечности на счастья щебет птичий,
Уходят в старый мир проторенным путём
Отвергнувшие Данта Беатриче.

QUO VADIS, DOMINI?

«У городских ворот мы были в час вечерний:
Я с братом Львом. – Мы думали бежать
От смертного меча, от благодатных терний:
Мы не могли тогда любви Его понять...

Дорога Аппия серела перед нами,
Как воды, крались мы в молчаньи вдоль стены;

И небо первыми зажглось тогда звездами,
И сумерки легли на голые холмы.

Тревожили ещё шаги нас в отдаленьи,
Иль всадник, скачущий на вспененном коне.
Но вот настала ночь, – цикад лишь слышно пенье,
Да кипарисов ряд чернеет в стороне.

И вот тогда, в тиши, мы ясно услышали
Шаги идущего навстречу нам из тьмы:
Струил Пришельца Лик лучи святой печали
И силой вышнего черты были полны!

Я видел: на плечах нёс крест он и, согнувшись
Под тяжестью древка, прерывисто дышал, –
И очи поднял он, глубин души коснувшись,
И пал я с плачем ниц, Иисуса в нём узнав!

«О Господи, куда идёшь в ночи Ты?»
И голос прозвучал – печальный и глухой:
 «Иду, чтобы распяли»...
 И слёзы на ланитах
Его зажглись, струясь во прах земной.

.....
Мы поднялись с земли и шли, храня молчанье
(Я с братом Львом). – И снова Рим блистал
Навстречу нам, искрясь приветными огнями,
Венец из терний он в грядущем возвещал».

ПРЕЛЮД ШОПЕНА **(ор. 28, № 13)**

Изъезженное гаммами пьянино
В безмолвьи лунном спит. Пусть спит.
Бюст Шиллера на жизненную тину
С прощающей улыбкою глядит.

Покоя час. И тина без движенья:
Подёрнута лишь зыбью... Полночь бьёт.
– Прелюд раскрыт, и тайно наслажденье
Слетевший Дух, к строкам прикинув, пьёт.

.....
А завтра вновь начнут топтать педали,
И тискать в клавиши трепещущий прелюд.
И пальцы толстые зазвёздные печали
Возьмут, о клавиши ударят... и убьют.

КНИЖНАЯ ЗАКЛАДКА

В словах, что спят под переплётками,
Всегда хитрит-мудрит тоска:
В узоры букв она замотана,
В созвучий скользкие шелка.
Крик текста, шёпот примечания,
Смыкая буквы, тщатся скрыть
В курсиве, в знаке восклицания
Тоски нервующую нить.

Котурны слов в душе привязаны.
(Шагай, не вздумай семенить.)
Огни бенгальские заказаны,
Чтобы в финале посветить.
 Но под гирляндой букв мелькающих
 Бумаги ровная доска.
 Под пеньем строф, под мыслью знающих
 Сереет Вечная Тоска.

КНИЖНАЯ ДУША

Переплётённые книги
Чинно стали в ряд.
На стене считает миги
Белый циферблат.
 Щёлкнул ключ. Шаги за дверью.
 Дальше. Глуше, тише...
 За окном танцуют капли,
 Брызжут струи с крыши.
И в тиши сквозь переплётёты,
Буквами шурша,
Выползает на свободу
Книжная душа.
 Крылья тихо раскрывает,
 Смятые во сне,
 И спокойно размышляет,
 Сев на корешке.
К белым стенам серый сумрак
Погостить пришёл.

Тень лиловая сквозь стёкла
Поползла на пол.

ДУША И КНИГА

На библиотечной полке
одной книгой стало больше:
это оттого, что в мире
одной жизнью стало меньше. –

Я осыпаюсь белыми страницами,
Я облетаю лепестками слов.
Как ночь июльская звездами-летавицами,
Душа исчерчена зигзажным лётom снов.

Над бегом строк, склоняясь, молча никну я:
Меня оденут в буквенный налёт,
И ляжет жизнь под чёрный переплёт.
Полу-душа и полу-книга... – никну я.

Обряд свершён: завит навек я в строки,
Меж фолиантов мудрых погребён.
Роняя пыль, крылами веет Сон.
Обряд свершён: навек завит я в строки.

И дни идут. – Под слоем книжной пыли
Душе, в паучьих нитях, должно ждать, –
Чтоб переплёт истлевший вновь раскрыли
И дали Истине молитву прошептать.

Ты улыбаешься, мыслитель дней грядущих:
Поблек-отцвёл мой стиль, и мысль моя тщетна.
Нам не было дано, как Вам, коснуться Дна:
Отмыслив, смыты мы все плеском дней бегущих.

– Но ты простишь, Грядущий, и поймёшь.
Ты тоже в книге траурной уснёшь.
И ты не человек: завейся в нити строк.
Сон Метафизиков божественно глубок.

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

ЮЛИАН ТУВИМ
(1894–1953)

ЧЕРЕШНИ

Сестре

Рвал я сегодня черешни –
С темным наливом черешни,
В садике было росисто,
Шепотно, юно, лучисто.

Ветви, обрызганы будто
Гроздьями зрелых черешен,
К озеру тихо склонялись,
Млея в бессилии вешнем.

Млея, в бессильи повисли,
Мыслью в воде утопали.
В травах зеленых и влажных
Отблески солнца играли.

ПОХОРОНЫ

Светила тускло лампа
Вверху, над головой,
Когда они несли его
По лестнице крутой.
Всё вниз и вниз несли,
Как будто б версты длинные
Нести им до земли.
Шептали и несли, качали головой.
И падал мокрый снег
Над черной чередой.

СВЕТОЗАР

Если море напомнит, велю беспощадно
Бить, стегать его прутьями и батогами!
Взвой, вздыбись! Но да будет тебе неповадно,
Мстя мне, щепами словно швырять кораблями.

Если солнце напомнит – глаза себе вырву
И швырну их, властитель: не видеть им света!
Пусть вовек не увижу свою я порфиру,
Пусть славянская осень убьет мое лето!

Если ж ночь мне напомнит, в бессилии млея,
Ночь, согретая пьяным дыханьем жасмина,
Ароматом своим, жгучей лаской своею,
Дрожью жаркого тела в усладе звериной,

Я спалю тебя, ночь, будешь дня ты яснее!
Ночи солнце дарю! Тьму отдам в позолоту!
Пусть столица горит, пусть сгорит и истлеет,
В пепел ты обратись, Златоград Створотый!

И останусь я там, на пожарище черном,
Очи в землю втупив... День за днем, ночь за ночью...
Мать-земля, отчего сердце так непокорно?
Отчего ночь и день вновь и вновь плачут очи?

...По пескам раскаленным ведут мне верблюдов,
И бесценных ведут мне слонов из Сиама,
Дань несут – благовонья, шелка, изумруды
И дары из несметных сокровищ Сезама.

Караваны идут с грузом девушек черных,
Девочек тысячу шлет князь нигрийский в знак
дружбы –
Похотливы, бесстыдны они и покорны, –
Черногубый хитер – знает он, что мне нужно.

Дале нету конца табунам и обозам:
Гонят стадо за стадом султана и хана,
Кони кровные ржут, и скрипит воз за возом
Из-за дальних границ до славянского стана.

Шлют меха мне с вином, и хрусталь, и сосуды,
Шлют куренья и мирру, бальзам и алоэ,
И кувшины мне шлют, и тяжелые блюда,
И пушистые перья, и золото литое.

Шлют одежды в слепящих камнях-самоцветах,
Упряжь конскую шлют, шкуры шлют и сайдаки,
Из кровавых кораллов сережки, браслеты,
И заморских шлют птиц, и заморские злаки...

Шлют поклоны – лбом оземь – все страны, языки,
Не посмеет никто к нашим рвам подступиться,
Помнят половцы наши победные клики.
Помнит погань, и вновь на войну не решится!

Да и я не забыл, как коню дал я шпоры,
Как сто тысяч людей я на половцев двинул,
Как сто тысяч коней, с ветром бешеным споря,
Понеслись на врага неудержной лавиной.

Погань вихрем я гнал, конь был в пене соловый,
И от шпор по бокам кровь сочилась на травы;
Но где прянет – победа звенит под подковой,
И поет степь широкая воинам славу.

Гнали мы басурманов за степь, буераком,
На заре Дон нас видел, а к вечеру Волга,
И бежал сам Кончак, Гзак бежал за Кончаком,
Гордый хан половецкий в ногах моих ползал.

И когда возвращались мы с дикого поля
И лбы вражки качались на пиках, на палах,
Мне дружина кричала, моя рать соколя:
«Наш Буй-тур Светозар, воевода удалый!»

Захватил я тогда, знать, добычу не хуже,
Чем родитель мой, викингов бивший у Балта,
Посейчас не сочли всех богатств и оружья:
Луков ханских, кольчуг и клинков в два закала.

Всех сокровищ не счесть – драгоценных камней,
Изумрудов и яшм, бирюзы, хризолитов,
Жемчугов – в них морей голубых отраженье,
Пестрых раковин – волны гудят в них сердито...

Не хватало и слов, чтоб поласковой звать вас,
Вас, утеха моя, светлячки летней ночи,
Как я вас миловал, как любил рассыпать вас
Или лунам в воде горсть швырнуть прямо в очи!

Мне казалось тогда, будто в водных глубинах
Чешуи позолотою змеи играют
И что месяц-паук там соткал паутину –
И небес лучезарная сеть достигает.

...И ясна и тепла, заряницею мая
На постель из цветов шла ты в ночь, о услада.
И шептала мне робко, к груди припадая:
«О владыка мой любый, мой Лель ты, мой ладо!»

А потом вдруг со смехом впивалась мне в тело –
Как на берег волна, на него набегала,
Мое сердце в груди клокотало и млело,
Ты волос ароматом меня опьяняла.

И от тайн благовонных туманились очи,
Губы жадные жадно вбирали лобзанья,
Ум мутился от счастья. И не было мочи
Оторваться, любви погасить полыханья.

И я бился в сплетеньях, как в неводе рыбы,
И, объятаями скован, горел нетерпеньем,
Содроганья, касанья, извивы, изгибы,
Боренье, горенье, подъемы, паденья...

...А потом тяжело, но как сладко дышалось.
Я лежал: надо мною – лишь звезды-мерцалки,
На озерах заводят песнь-плач дивьи жены,
А в лесах на ветвях спят ночные русалки.

И всё думалось-снилось, что будто б уж лада
Зачала и несет в своем чреве мне сына,
И что удаль мою унаследует чадо,
Как наследовал я у отца-исполина.

Был бы ты, Светозарич, владыка владыкам!
Воевода перунов! Князь во Златограде!
Вихорь мой Ураганович, Витязь великий!
В златоверхой тиаре, в багряном наряде!

Злая мать еще в чреве похитила сына,
Унесла мою гордость, надежду, опору,
И родишься на свет на немиллой чужбине.
Сын святой мой, родишься с печатью позора!

А то бросит (как знать?), будто сучий помет ты,
Будешь жить ты в бесславье, по людям скитаться,
И проклянешь отца, и не будешь знать, кто ты,
А враги станут зло над тобой насмехаться.

...Помню отроком был я в отцовской палате;
Нам послы принесли тайно весть от хозаров:
Три волхва, мол, пошли на поклон в хлев к дитяти,
Те волхвы – Мельхиор и Каспер с Бальтазаром.

А дитя безымянно! И все хохотали,
И смеялся отец мой хмельной незлобиво.
«Чудеса в решете, – говорил он. – Видали?
Князь в хлеву! Среди скота? Ай да дивное диво!»

Ты б лежал в колыбели из белого пуха,
Ты б сосал, Светозарич, лебяжий перси,
Мой хоробрый, всю силу отважного духа
Вцеловал бы в тебя – и презрение к смерти!

Как земли бьется сердце от соков налива,
От моих поцелуев ярь-кровь в ней вскипела,
А во мне расшумелась, как зрелая нива,
Мощь святая любви, что не знает предела.

Дымом жертв голубели урочища, логи,
Песнопеньем звенели священные рощи,
Мед, молитвы и туши суровые боги
Принимали, даря мне часть божеской мощи.

А теперь, видно, боги исполнились гнева
И бог-страх в камышах затаился прибрежных.
Тщетно варите зелья мне, вещие девы,
Да и вы, старики-ведуны, бесполезны.

Возвратите мне очи, дышавшие степью,
Голос гусельный нежный, румянец ладоней!
Что мне слава, богатство и великолепье?
Князь, как раб, перед вами главу свою клонит.

Где ты, лада, вернись – меч мой туп стал и тяжек,
Без тебя не отбить мне поганые орды!
Грабь же, хан, Златоград! Печенег, сядь на Сяже!
А ты, пес половецкий, бери стяг мой гордый!

Гей, коня! без седла, лишь за гриву схватиться...
Дайте мне по степи во всю ширь развернуться
И за дьяволом-ветром кружить и носиться...
Дайте пасть мне, не встать и назад не вернуться!

Ты ж, дружина моя, коль найдешь меня в поле,
Возвращаясь, как прежде, с победою бранной,
Тризну справь ты по мне, меду выпейте вволю
И любившее сердце засыпьте курганом!..

Выше прыжки, всё быстрее, истеричней движенья,
И начинается танец шальной на панели.
Пляшут в экстазе, в восторге и в исступленьи,
Треплются в пляске лохмотья на зябнущем теле.

Рьяно, с размаху руками бьем накрест о плечи.
Танец быстрее и быстрее. Обезумели ноги.
Хлещет трескучий мороз, как стрелой, как картечью,
И, растворяясь в бреду, исчезает тревога.

Мякнут у нас за спиной оснеженные стены,
Жадно вбирая тела наши каменным телом,
Льнут, как атласная кожа влюбленной сирены,
Жадным лобзаньем лаская, безумным и смелым.

Вот мы зарылись в перины пуховой постели,
В сладостных спазмах любви наготой пламенея,
Тонем всё глубже и глубже в молочной купели,
В жгучем сплетении тел бьется пульс всё сильнее.

В пурпур распоротых жил льет безумье ликеры,
Жадно их жидкого золота сладость вбираем,
В тропиках буйно растаем мы в кактусов поры,
В мякоть зеленую глубже и глубже растаем.

Плавимся в пышущих пеклом горючих Сахарах,
Прячемся в чреве разъятом израненной львицы,
Жаримся шкварками в солнцем зажженных
пожарах,
Жиром нам с улиц стекать, иссякать, испариться!

И нет нас! Только остался наш бешеный танец!
Ветром пустыни нас сдуло: и нет нас, не стало,
Только на белой стене – о, взгляните! – румянец:
Кровь бедняков запеклась, стужею их втанцевало.

АПРЕЛЬ

О утро! День, солнцем зажженный!
В весне, как в траве, я шагаю!
Из сердца мой галстук зеленый
Растет, словно ветка живая.

И длинная тень моя пляшет
И плавится в солнца блистаньи.
Гуляю в пальто нараспашку
И руки засунул в карманы.

Гуляю с преласковой миной
(Гвоздика в петлице алеет)
И пялю глаза на витрины,
Как уличные ротозеи.

Весь мир, до последних изгибов,
Приемлю. Да слов не хватает.
И теплomu солнцу спасибо,
И ветру, что благоухает!

Гляди – голова раскачалась
И тычется носом в гвоздику...

Тоски в моем сердце не стало,
Охваченном счастьем великим.

Апрель в моих жилах кружится,
А мир в голове каруселью!
За здоровье весны бы напиться
Весенним дурманящим хмелем!

ВЕЧЕР

Лучами золотыми
Закат глядит в окно.
Мечтается так сладко:
«Что если... если б... но...»

То было, нет ли... Тени,
Вечерний сад, скамья, –
И с кем-то я, но с кем я,
Никак не вспомню я.

Тогда был тоже вечер
(А может, память лжет) –
Готов я ждать всю вечность:
А вдруг он вновь придет.

У ОКНА

Знаю... Ты села сейчас у окна
И смотришь...
А за окном пожелтелый каштан
Листья роняет... осенние листья...
Дождь окропил его... мокнет каштан...
Знаю: сейчас ты сидишь у окна,
Осени сенью осенена,
В добрых глазах твоих отблески грусти,
Отблески отблесков: странно как... странно...
Листья летят и летят безустанно –
Листья каштана
С шорохом наземь ложатся,
Грустят... золотятся...
– А может быть, светит солнце?
.....
И знаю, мысли твои обо мне,
Вчера еще был у тебя я...
Ты помнишь? Как больно мне было
Сознание того,
Что должен тебя я покинуть
(...Тишина, предосенняя тишь...).
Да, что должен с тобою расстаться,
Что не будешь глядеть, как глядишь,
И не буду тебе улыбаться
(...Тишина, предосенняя тишь...),
Улыбаться, как та – в зале мрачном – больная
Улыбалась тогда... умирая.

Ах, вчера еще был у тебя я,
И знаю...

– А может быть, светит солнце?

.....

На улице нет ни души,
Тихо-тихо в твоём городке,
Только падают листья в тиши,
И каштан, обнаженный, всё мокнет...

Ты сидишь, милый друг, у окна,
У окна, добрый друг, всё одна,
Мое ясное солнышко, счастье,
Мое грустное счастье в ненастьи!

...Маятник, знай, всё стучит –
День за днем и за мигом миг.
(Летят, летят с каштана листья...)

Тишина, о осенняя тишь...)

Как ты устала,

Сонливо

Ты голову набок склонила,

Слеза блеснула в глазах...

– О чем твои мысли, скажи?

– Отчего твое сердце дрожит?

И я, вот здесь, как ты,

И я.

Друг друга так знаем мы,

Так знаем друг друга мы...

– Слышишь?

– Летят с каштана листья,

Летят и летят безуданно

И с шорохом наземь ложатся.

Как странно...

Ты сидишь, милый друг, у окна,

У окна, добрый друг, всё одна...

– А может быть, светит солнце?..

СЛОВО И ПЛОТЬ **(фрагменты)**

I

И слово плотью стало
И ныне живет меж нами,
И тело, что изголодалось,
Кормлю я словами-плодами,
И пью, как студеную воду,
Я слово и ртом, и дыханьем;
Ловлю ароматы я слова
И неба ищущу в нем сиянье,
И свежесть листка молодого.

Вином стало слово, и медом,
Оно стало мясом и хлебом, –
Глаза за словами уходят
По тропам звездного неба.
Радость – как хлеб человеку!
Боже! Ты видишь – я стражду.
Слова насущного даждь ми
Ныне, и присно, вовеки.

II

Мне чужды все ремесла,
Рожден ловцом я слов.
Весь в слух преображенный,
Я вышел в мир на лов.

Мгновения словами
Кружатся надо мной,
Жужжат с утра до ночи,
Как пчел звенящий рой.

Меня их жгут касанья
И ранят глубоко.
Но пусть тяжки страданья,
Мне с ними так легко!

В сердце запрятаны,
Трепещут слова,
Оттого – в сердце стон.
Медом залятым
Пьяна голова,
Оттого – снится сон.

III

В тебе моя вся алость,
В тебе моя вся зелень,
Ты мозга многопалость
И нервов изветвленья.

Удары мира яры,
Струятся многошумно
В мозгу горящем яды –
Смесь слова и безумья.

Во мне кровь молвью стала,
Земли горячим грунтом, –
Взрастай же, слово ало,
Могучим гимном бунту!

СОРОК ВЕСЕН

Взыграли все сорок весен,
Будто сорок зеленых рек, –
В один ток, в одну глубь, в один бег
Унесло мой ветвящийся век:

Сорок гудящих весен,
Юное половодье
Пенную песню заводит,
Ложе взбивает любви –
Пафос промчавшихся весен,
Вместе с корнями деревьев,
Вместе с обломками вёсел
И в ключья изорванной гривой,
Что бросил в потока зев
Какой-то
Из брызг серебрящихся лев.

И хаос зеленый лесной требухи,
Растерзанной током веселым в крови
(Смолисто-зеленая кровь!),
И пни, вырвидубовы зубы,
Ручьи, ручейки, все – и донья и глуби –
Все на гребень волны
Сорока половодьем разлившихся весен,
Что, как лодка, несутся по морю вольны,
Одному лишь желанию подчинены...

Всё несу я минуте одной,
Самой светлой и самой счастливой,
Самой яркой из всех сорока моих весен,
Что выиграла безбрежным весенним разливом.

ПОЭЗИЯ И «ТАЙНА ЛИЧНОСТИ»:
СЛУЧАЙ
СИГИЗМУНДА КРЖИЖАНОВСКОГО

Настолько-то я поэт, чтобы не писать стихов.
С. Д. Кржижановский. Записные тетради

...И всё-таки Сигизмунд Кржижановский, наверное, был бы рад, что стихи его выходят отдельной книгой. Свидетельств тому множество, явных и неявных. Начнём с явных. Из письма А. Г. Бовшек от 11 августа 1933 г. о чтении пьесы «Поп и поручик»: «7-го читал свою комедию в студии Симонова. Был весь коллектив (даже художник и музыкант). Успех был подготовлен, но все же превзошел мои ожидания. Хвалили меня и так, и этак. Но из всей кучи хвалений я отобрал в память два высказывания: 1) стихи и проза на одном уровне; 2) каждая, самая маленькая роль в пьесе индивидуализирована...». Да, но что там за стихи? Куплетцы! Однако же...

В новеллы он включал свои стихотворения, «отдавая» авторство персонажам («Поэтому», «Ветряная мельница»). Героев-поэтов у него великое множество: и в первой книге, «Сказки для вундеркиндов», и в более зрелых – взять хотя бы «Возвращение Мюнхгаузена». Со словом *в прозе* он работал скорее *как поэт*, добиваясь не столько общей выразительности потока речи, сколько максимального выявления возможностей каждого элемента этого потока: «“Явление мозга”, говоришь ты? Но источник явления нахожу я в лени “я”» («Якоби и “якобы”»); «чудо, коснувшись кожи, до мушье́й души не дошло» («Мухослон»); «от

смены стран вы будете страннеть» («Странствующее “Странно”»). Оттого в прозу время от времени прорываются стиховые фрагменты: «Подожвы башмаков успели вмёрзнуть в снег» («Возвращение Мюнхгаузена»)...

Довольно неожиданно поэтические амбиции Кржижановского отчасти реализовались в последнее пятилетие его жизни, когда прозы уже не было, – переводами из Юлиана Тувима («Апрель», «Черешня», «Зима бедняков», «Похороны», «Слово и плоть», «Вечер», «У окна», «Сорок вёсен», «Светозар»). Некоторые из этих переводов и шестьдесят лет спустя легко выдерживают сравнение с работами признанных мастеров жанра...

Среди косвенных свидетельств поэтических устремлений Кржижановского одно – наверное, самое важное – бросается в глаза только тому, кто хотя бы немного работал в его архиве. Имеется в виду наличие тетрадей с *черновиками* стихов, бережно сохранёнными наряду с беловыми вариантами, предназначенными – хотя бы и в молодости, в 1910-е годы – к печати. Здесь читатель вправе изумиться: ведь любой писатель хранит рукописи, которые своим чередом перекочёвывают в архив...

...но для этого нужно малое: предмет хранения. В данном случае – отсутствующий. Кажется, что Кржижановский, любитель «пешего хода», *выхаживал* свою прозу, удерживая её в сознании до полного «вызревания», а потом надиктовывал машинистке уже почти набело. Деньги на это у нищего писателя находились всегда: можно было отказаться от поездки на юг, от нового костюма, от еды... Но не от машинистки.

Из того же письма: «Нашел прекрасную машинистку: дороговато берет, но зато работать с ней одно удовольствие – схватывает налету. И живет она очень удобно – почти рядом со столовкой Горкома: это обстоятельство

заставляет меня каждый день обедать. В дальнейшем, даже вернувшись к Анне Алекс<андровне>, хочу не порывать связи и с этой машинисткой. Поезд о двух паровозах идет быстрее».

На ту же тему написана и новелла «Пропавший человек». Герой приходит к Марии Ивановне, «которая писала писателю его диктанты»: «Сперва это была рецензия на какую-то книгу. Иглицын излагал, потом подсекал критическими крючьями, наконец встал и, шагая из угла в угол, бросал злые слова, грозя кому-то большим пальцем правой руки». Это, без сомнения, – о себе.

Меж тем чужие черновики привлекали его чрезвычайно. В 1925 г. вышел «Словарь литературных терминов», для которого Кржижановский написал одиннадцать статей. Среди них «Черновик», родившийся, как пишет в комментариях к четвёртому тому Собрания сочинений С. Д. Кржижановского Вадим Перельмутер, из раздумий над «анализом зачёркнутого» в рукописях Толстого, Пушкина, Гоголя, Достоевского... Определение говорит о пробной записи «литературно оформляющегося текста», «необелившемся» «от описок, пропусков, разночтений, шероховатостей стиля и ошибок» «чёрном тексте», подлежащем дальнейшей авторской редакции. Говорится об эволюции понимания ценности черновика: «До второй половины XIX века... полагали, что авторизованный *окончательный* печатный оттиск почти обесценивает несовершенные тексты черновиков. Но постепенно легенда об “окончателности” текста, как бы оттеняющего своей завершённой “оттиснутостью” беспокойно движущиеся, борющиеся за бытие буквы черновика, стала терять свою убедительность. Творческий процесс имеет начало, но не имеет конца, и если, обычно, он бывает остановлен извне, в силу чисто практических нужд (напр<имер>, нельзя исправлять отпеча-

танное), то изнутри он продолжает длиться... Таким образом, расширяя понятие “черновика”, можно утверждать, что никакое творчество не выходит за его пределы, что все самые образцовые произведения лучших мастеров лишь более или менее выправленные *черновики*... Жизнь живой буквы, как и жизнь живой особи, останавливает обычно не завершённость, а... смерть». Это – тоже о себе. Тем более что «правку» в сочинения вносят и те произведения, которые появляются позже.

Смерть автора, в таком случае, – и смерть текста; пока жив автор, произведение есть нечто живое, органическое, *становящееся*, а не *ставшее*; окончательное становление означает, что тексту положен *предел* – причём положен *извне*, насильственно. Одна из архивных тетрадей стихов, озаглавленная «Философы» (РГАЛИ. Ф. 2280. Оп. 1. Ед. хр. 71), недаром имеет эпитафию, который Кржижановский не забыл и будучи «зрелым» писателем: «На библиотечной полке одною книжкой стало больше: не оттого ли, что на земле – одним человеком меньше?».

В идеале (если можно предположить реальное, а не метафизическое, бессмертие автора) произведение никогда не оказывается закончено. Но, против ожидания, такое бессмертие – это скорее дурная бесконечность, чем бесконечная радость бытия: «Последний метафизик Гамлет – сплошное бытие нельзя убить, и небытие пронизано снами – ужас бессмертия» («Записные тетради»). Что же касается «законченности» или «незаконченности», то в новелле Кржижановского «Спиноза и паук» говорится: «досоздано до конца» может быть только то или тот, кто обладает «великой привилегией... – свободой от мышления». Кстати, и у героев *прозы* Кржижановского не всё просто с разного рода «лабораториями»: они или пишут сразу «набело», или рассказывают свои истории без вся-

кой подготовки и претензии на то, что рассказанное будет записано. Прямо скажем, – *нет* лабораторий...

В том же «Черновике» читаем: «в последние десятилетия работа научной литературной критики предпочитает изучение процесса творчества анализу его продукта. Произведение мастера рассматривается как непрерывно движущееся от черновика к черновику, через корректуру и тексты изменяющихся (“исправленных”) изданий».

Быть может, это и есть – для «продукта» – ужас сплошного бытия.

Смерть текста, таким образом, – ещё и в бесконечном изучении его *жизни*, а не его самого. Интересно, как отреагировал бы Кржижановский на современные текстологические экскурсии – допустим, в поэзию и в рукописи Мандельштама... Предположить можно, прочитав новеллу «Рисунок пером»: она о «жизни» текстов Пушкина.

Настоящее *бытие* написанного – в *сознании* читателя, «замкнувшего представления в буквы»: «читатель... должен подражать переплётчику, собирающему разные листки книги в одно; читая же книгу звуковых образов (поэзия), он должен невольно превращаться как бы в наборщика книги, медленно, буква за буквой, *перенабифая* в своём сознании данный текст» (ст. «Читатель»).

Сохраняя черновики стихов, Сигизмунд Кржижановский предоставляет читателю возможность соучастия в творческом процессе.

Дело, однако, не в текстологии; по-видимому, сам Кржижановский хотя бы отчасти понимал свои стихи как некоторый черновик, *пролог*, пробные записи. Сам он повёл себя в этом смысле вполне определённо: недаром же половину сшитой вручную тетради «Копилка образов» составляют стихи.

Не забудем, что русский язык для Кржижановского – не родной. Он ложился «поверх», если не «поперёк»,

польского, на котором говорили в семье, и немецкого, на котором писали Кант или Фихте, спутники юности Кржижановского, выбиравшего «между Кантом и Шекспиром», то есть между философией и литературой – и *выбравшего* не сразу и не без тяжёлых сомнений. Замысел книги о стихах философов автобиографичен, поздний замысел работы о стилистике философских трудов – своеобразная дань «оставленной» музе.

Заниматься поэзией значило «уроднять» себе слова русского языка. Но «сделать родным» для Кржижановского – в отличие от многих других писателей, которые, осваивая русский, отклонялись от своей «языковой отчизны» или «биографии», становясь в результате блестящими *стилистами*, – вовсе не значит «отказаться от родного». Женские рифмы-окончания в «Лаврских курантах» или в «Мумиях» отзываются польской «ударностью» предпоследнего слога. Из того же языкового источника – тяготение к инверсиям: в польском это – норма, в русском – приём и способ «деавтоматизировать», «оживить» слово (см. об этом у Брюсова или у Шкловского). Дело здесь не в «преодолении» родного языка (надо сказать, проблемы «преодоления» в творчестве Кржижановского вообще не существовало, поскольку он всегда брал своё там, где находил, ни от чего не отказываясь, тем более – от родного языка и его возможностей). И не в выработке собственной «стилистики» (в «Записных тетрадах» читаем: «Бог не в стиле, а в правде»). Речь идёт, скорее, о возможности сделать слово в литературе максимально насыщенным по смыслу; подобное встречаем у Мандельштама, который сам себя называл «смысловиком» (тема «Кржижановский – Мандельштам», как говорится, «ждёт своего исследователя», равно как «Кржижановский – Брюсов»). И стихи, скорее всего, стали тем рычагом, без которого махина выбора не

была бы сдвинута с места: ведь «святое» поэтическое ремесло в начале 1900-х годов было признано первейшим, и оставить ради него философию означало лишь отдаться высшему началу культуры.

Стихи свои Кржижановский частично публиковал в Киеве, частично – готовил для печати. В архивных машинописях – следы работы по перетасовыванию текстов из цикла в цикл, из отдела в отдел.

В литературоведении узаконено явление «проза поэта». Симметричная «поэзия прозаика» – штука более сложная; Валентин Катаев отчаянно радовался, когда Мандельштам хвалил хотя бы «одну-две настоящие строчки, и это было праздником и наградой». Не забудем, что одесит Катаев осваивал русский литературный язык также как не вполне родной. Стихами начинали Алексей Толстой – Горький – Каверин – Платонов – Олеша – Катаев – Грин – Домбровский...

И кто, в конце концов, возьмётся отрицать, что стиль Шкловского, эти краткие, ёмкие фразы и абзацы, возник не из стремления подражать поэтической речи?

Поэтические занятия помогли Кржижановскому постичь природу языковой пластики – и ритма, который, как он понял, по природе своей был прозаическим, вернее – органичным *его* прозе. Пластика же, в свою очередь, работала – на *смысл*.

В стихах говорится о поиске «красоты невоспетой, несказанных слов», желании «петь (не писать “петь”))» о *борьбе со словами за слова*. Собственно, это – одна из тем «Сказок для вундеркиндов» (а позже – и «Клуба убийц букв»). Мучительная проблема: равны ли слова – миру; соответствует ли имя – вещи; можно ли жить среди слов, или они – только фикция, мнимость, тени, не отброшенные от предметов. Мало того, что в сознании существует не мир, но

лишь его «отсвет смутный» (стихотворение «Мирозерцание под пулями»); так что же, он в придачу – ещё и *несуществование*? Тогда «за что вещи и люди наказаны именами?» (новелла «Фу Ги»). В новелле «Поэтому» герой, отказываясь от поэзии, от сферы возможностей, «бы», ради, как ему кажется, «бытия» (оборачивающегося довольно пошлым «бытом»), размышляет: «Как это странно... Давно ли казалось, что Митти потеряна. Навсегда. И вот завтра я назову её, не “назову” (проклятая привычка), а завтра она будет подлинно, вечно будет моей». Здесь внимание берёт на себя определение «вечно». В стихах недаром появляется «Исшѣпанное мириадом уст // Земное ветхое люблю» – между прочим, с особой смысловой нагрузкой на страдательном причастии, характерной для стиля Кржижановского – зрелого прозаика.

В «Квадрате Пегаса» центральный персонаж постепенно превращается из поэта в обывателя. Для Кржижановского такое превращение знаменует смерть души. Этапы «умирания» обозначены словами-названиями главок новеллы: «звѣзды», «гнѣзда», «сѣдла», «отцвѣл», «приобрѣл», «надѣван», «запечатлѣн». В. Перельмутер уже отмечал, что все они суть исключения («писать через ять») и в учебниках, для удобства заучивания, помещались в форме простенького *стишка*. Выбрав этот путь, герой не выходит за пределы «гимназического», «сугубо житейского» опыта и полностью этим опытом исчерпывает себя. «Исключения» становятся незыблемым «правилом».

В «Якоби и “якобы”» философ спорит о смысле бытия со словом, скорее даже – в контексте новеллы – *словечком*. Оба произведения – столько же о приключениях людей, сколько и слов; последние «всего-навсего» обретают собственную личность. По такой же логике пальцы пианиста, убежавшие от своего хозяина, могут жить самостоятельно

ной жизнью («Сбежавшие пальцы»), отчуждаясь от «владельца».

Но воплощение не отменяет страха писателя перед фиктивностью мира, перед тотальным «не-я». Существовать в нем нельзя. Если слова – фикции, то лучше уйти в «То и Тишину». Иначе мир, которого нигде нет (есть только отдельные вещи), и слова, которыми говорят и которые не говорят, помешают Тишине входить в человека и рисовать бесконечные вопросительные знаки (новеллы «Фу Ги», «Старик и море»)… Тишина сродни смерти, которой Кржижановский-автор не боится. Но соотносится ли смерть с вечностью, в которой всё – звучание? А *звучания* Кржижановский желает и ждёт – от явлений, от вещей, от слов – в одинаковой мере.

Избавиться от муки бесконечного сомнения для Кржижановского было возможно, только найдя жизненность в словах. Звучащий, фонетически активный язык поэзии помог преодолеть барьер между собственным «я» и «я» того языка, с которым автор связывал в 1910-е годы свою жизнь: с русским. В стихах заметно, как преодолевалась инерция чтения немецкоязычных текстов – об этом свидетельствует фонетика, тяжеловатая для российского уха: «Затылок втиснул я в спинку дивана; // Как за лезвием плуга, – // За мыслью бреду».

Стихи хранят ещё одну тайну личности Кржижановского – из области «быта» начальной, киевской поры, свидетельства о которой Кржижановский по мере сил уничтожал. На одной из ранних фотографий молодой поэт запечатлен рядом с двумя дамами – не жена ли с тещей? – и крайне трудно узнаваем: так, вероятнее всего, и выглядело его «не я». Неудачная первая женитьба – может быть, она тоже «черновик»? И сатирическое стихотворение «Молодожёны» – не к самому ли себе обращено?

Кржижановский-поэт пребывает то в мире сатиры, где его безусловный кумир – Саша Чёрный, то в мире романтико-символическом, в котором царит фигура Андрея Белого. По причудливой ассоциации Белый для Кржижановского связан с немецкой мыслью и немецкой сказкой, мифом, братьями Гримм и Вагнером. Между «Чёрным» и «Белым» располагаются, например, Анненский и Фет: в стихотворении «Книжная закладка» стих «Огни бенгальские заказаны...» отзывается Анненским, его трагическими «Трилистниками». А «Изъезженное гаммами пьянино...» – криво-зеркально отражённое «Рояль был весь раскрыт...».

Стремление к циклизации, в высочайшей степени свойственное поэтам рубежа XIX–XX вв., характерно и для Кржижановского. Составляя в 1913 г. предполагаемый сборник (именно *сборник*, а не *книгу!*), он выделяет в ней такие: «Город» (чрезвычайно зависимый от тематически близких писаний Брюсова), «Над мигами», «Тупик», «Путевая карусель», «Кривые улыбки», «Мечты и сны», «Меньшая братия», «Так себе». Самый обширный, конечно, «Философы». И снова здесь – не заимствование, но проявление цикличности мышления, которая потом обернётся «авторским» составлением прозаических книг как «циклов».

Игра литературными именами превращается в игру понятиями, «методами, течениями и направлениями» современной ему словесности. Русский писатель, Кржижановский – благодаря изначальной языковой ситуации – европеец по всем признакам. Недаром в 1920–1930-е гг. его основные литературоведческие штудии – о Шекспире, Шоу, Свифте.

Переключки стихотворений с прозой очевидны. Например, в «Лаврских курантах»: «Кто-то тихо водит стрелки // Циферблата белым диском // И в секунд деленьях

мелких // Ищет Вечность: Вечность близко». А в «Странствующем “странно”» герой путешествует на стрелках часов. Словосочетание «книжная закладка» стало названием и стихотворения, и новеллы. Метонимии «швы», «лобная кость», «циферблат», сопровождающие Кржижановского-прозаика вплоть до последнего дня его писательской жизни, впервые возникают именно в стихах. Падающие от идей тени из «Magnus Con Templator» гротескно используются в «Стране нетов»: «Правда, неты учат своих малых нетиков, что тени отбрасываются какими-то там вещами, но если рассудить здраво, то нельзя с точностью знать, отбрасываются ли тени вещами, вещи ли тенями – и не следует ли отбросить, как чистую мнимость, и их вещи, и их тени, и самих нетов с их мнимыми мнениями».

Возникает соблазн «откомментировать» прозу Кржижановского его ранними стихами. Как будто поводов для этого предостаточно; и всё же логичнее – в данном случае – поступить наоборот, сделав прозу комментарием к стихам: хотя бы потому, что проза пришла позднее. Тогда станет заметно, как приращивались темы, как обрастали они, одна за другой, образным, звуковым, смысловым «мясом».

Не все стихи Кржижановского отвечают строгим критериям «творчества и чудотворства». Но даже в этих случаях их стоит читать, чтобы понять его принцип работы со словом: о причастиях уже говорилось, нужно заметить и деепричастия (какое-нибудь «ввившись» и ему подобные). Наиболее слабые стихотворения – как раз те, которые явно подражательны (Блоку, Брюсову, тому же Саше Чёрному). Но и в них бывают замечательные строки: «Тихой поступью поступков // Мы подходим к бытию» («Circulus vitiosus»).

Представим на минутку, какой интерес вызывали бы у нас стихи – ну, хотя бы Достоевского.

Впрочем, художника, который писал бы сплошь шедевры, природе до сего дня не посчастливилось породить. А в лучших стихах Кржижановского возникает то самое главное, без чего не бывает искусства: художественный мир, авторская уникальная реальность, картина мира, которая обладает *эстетической природой* и которая – вне зависимости от «зрелости» или «незрелости» автора – в его поэзии уже есть. Всегда при чтении *подлинного* возникает призрак иного мироздания, чем то или те (учитывая прежний читательский опыт), в которых ты существовал доселе. «В день Благовещения природа почивает: // И звери спят в норах и травы не растут; // На срывах скал гнёзд птицы не свивают, – // Лишь мысль философа свершает вечный труд» – вот одна грань этого мира. Вот другая: «– Если ты поэт, то слышишь в час бессонный // Вздохи тайных слов, гонимых из души. // Там, на мостике, над тишиной бездонной, // Все свои слова... останови». «...О, слёзы старины, уснувшие меж трав // Под мерный плеск ручьёв и звон шмелиных песен – // Любовь в вас умерла, словами отсверкав, // И по зигзагу букв ползёт неслышно плесень»: это третья...

Поэтическая реальность Кржижановского обладает степенью *досозданности*, необходимой читателю для того, чтобы он мог сказать поэту: «Я дышу воздухом твоего мира».

Разумеется, такая реальность вряд ли может быть *досотворена* до конца.

Данное издание – не «книга» стихов, а лишь произвольно составленный «сборник». Не огласив «последней воли», много раз переделывая возможные «циклы» или «отделы» желанной книги стихов, Кржижановский открыл исследователям возможность проявить высокую степень свое-

волия. Композиция выстроена по аналогии с композицией «Сказок для вундеркиндов». Стихи относятся преимущественно к 1910-м гг., некоторые (из «Записных тетрадей») – к 1930-м. Издание основано на архивных материалах из РГАЛИ (Ф. 2280. Оп. 1. Ед. хр. 71, 72) и на «Записных тетрадях» (цит. по: Сигизмунд Кржижановский. «Страны, которых нет»: Статьи о литературе и театре. Записные тетради / Сост., предисловие, примечания В. Г. Перельмутера. – М.: Радикс, 1994).

Вера Калмыкова

СОДЕРЖАНИЕ

Лаврские куранты	3
«Парсифаль»	3
«В межкрестной тишине...»	4
Сумерки	5
«Кисленькие, злые, хворые идейки...»	5
Весенний снег	6
Скука	7
«На стене: “Турчанка у фонтана”...»	8
«В душе, как в нетопленной комнате...»	8
«Море цвета лакмуса...»	9
Молодожёны	9
Дачная опушка	10
Мы	11
«La questa tomba»	12
«Милые, добрые, мудрые книги...»	12
И я	13
Поэту	14
«Предмирная, немая сила...»	14
Стриндберг	15
Валун	15
Череп Канта	16
Suicidium	17
Мумии	18
«На тихом кладбище, на мраморе доски...»	19
Академия (IV в. до Р. X.)	20
Схоласты (XIII в.)	21
Magnus Contemplator (XIII в.)	22
Декарт	23

Гартман	24
Сказка о познании	25
«Приходи... Мы с тобой помолчим...»	26
«Ныне отпускаеши»	26
«Вечерняя печаль нисходит на поля...»	26
«Колоколов далёких перезвоны...»	27
An den Frühling (Григ)	28
Весне	28
Saalfelden (Tirol)	29
Саше Чёрному	29
«Поезда меня мчат по неведомым странам...»	30
Эригена (IX в.)	30
Монастырь Сан-Миньято (Флоренция)	31
Santa Chiara	32
Венеция ночью	33
Предчувствие	34
Мой лебедь	34
Кладбище вечером (Mayerhofen)	35
Мирозерцание под пулями	36
«Я – создание неведомых чар...»	37
Свобода	38
М. О.	38
Ветряная мельница	39
Курица	39
Эпитафия себе	40
Могила Гейне	40
«И дремля едем до ночлега...»	43
Беатриче	44
Quo vadis, Domini?	44
Прелюд Шопена (op. 28, № 13)	46
Книжная закладка	46
Книжная душа	47
Душа и книга	48

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

Юлиан Тувим (1894–1953)

Черешни	50
Похороны	51
Светозар	51
Зима бедняков	58
Апрель	60
Вечер	61
У окна	62
Слово и плоть (фрагменты)	
I. «И слово плотью стало...»	64
II. «Мне чужды все ремесла...»	65
III. «В тебе моя вся алость...»	65
Сорок весен	66
<i>В. Калмыкова. Поэзия и «тайна личности»:</i>	
случай Сигизмунда Кржижановского	68

Кржижановский С. Д.

К81 Книжная душа: Стихи разных лет. – М.: Водолей Publishers, 2007. – 88 с. (Малый Серебряный век).

ISBN 5-902312-95-7

Из всех литературных открытий постсоветской эпохи явление из полного небытия прозаика мирового уровня, новеллиста, сопоставимого по значению с Борхесом и Кафкой, С. Д. Кржижановского (1886–1950) было самым ошеломительным.

Поэтическое наследие писателя, к сожалению, не вошло в его собрание сочинений. Книгу составили стихи, которые Кржижановский еще в 1910-е годы печатал в киевских газетах и потом всю жизнь изредка записывал на полях прозы, а также поэтические переводы из Юлиана Тувима.

ББК 84Р7-5

Кржижановский Сигизмунд Доминикович

Книжная душа
Стихи разных лет

Литературно-художественное издание

Технический редактор *А. Ильина*
Корректор *В. Резвый*

Подписано в печать 15.01.07. Формат 60x90/32
Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль
Печать офсетная. Печ. л. 2,75
Тираж 100 экз. Заказ №

Издательство «Водолей Publishers»
119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 17-Б
тел. (495) 786-36-35. E-mail: agathon@humanus.ru

Отпечатано в ИПП «Гриф и К°»,
г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а

МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Ещин Л. Е. Собрание стихотворений. 2005. – 80 с.

Участник Первой мировой и Гражданской войн, офицер армии А. В. Колчака Леонид Ещин (1897–1930) сочинял стихи в условиях Ледового похода – отступления к Приморью. Записал и издал он их лишь в 1921 году во Владивостоке («Стихи таежного похода»). Позднее Ещин жил в Харбине, где и погиб в нищете, оставив расплывшиеся в периодике стихи и небольшой рукописный архив. В книгу вошли все выявленные стихотворения поэта.

Эйснер А. В. Человек начинается с горя: Стихотворения разных лет. 2005. – 72 с.

В книгу вошли практически все сохранившиеся оригинальные стихотворения и избранные переводы Алексея Эйснера (1905–1984) – поэта, никогда не издавшего поэтической книги, друга Цветаевой и Эренбурга, участника Гражданской войны в Испании и узника сталинских концлагерей.

